

Время колоть лед

Автор:

Катерина Хаматова

Время колоть лед

Чулпан Наилевна Хаматова

Катерина Владимировна Гордеева

Книга “Время колоть лёд” родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и журналиста, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан отвечает. Иногда – наоборот. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему; чем дышал театр начала двухтысячных и почему спустя десять лет это стало опасным. Но, главное, как же вышло так, что совершенно разными путями подруги – Чулпан и Катя – пришли к фонду “Подари жизнь”? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, чем-то похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране? “Эта книга – и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневник событий, и диалог на грани исповеди” (Людмила Улицкая). [i]Книга содержит нецензурную брань[/i]

Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева

Время колоть лёд

© Хаматова Ч.Н., Гордеева К.В., 2018.

© Улицкая Л.Е., предисловие, 2018.

© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2018.

* * *

Людмила Улицкая. Предисловие

Перед нами книга сложная, странная, полная обаяния и совершенно выпадающая из привычных жанров: здесь и роман воспитания, и журналистское расследование, и диалог двух подруг на грани исповеди, и дневник событий, и историческое исследование. Оторваться от нее невозможно, как от детектива, но временами проливаешь слезу, как над сентиментальной повестью. Словом, жанр ее не поддается определению. И в этом смысле она остро современна – сама наша жизнь вышла из привычных канонов, а девяностые годы, когда завязывалась сознательная жизнь наших героинь, были временем крушения старых правил жизни и создания новых – так, по крайней мере, казалось.

Было большое очарование в годах, которые некоторые называют “проклятыми девяностыми” – зыбкий, неопределенный, многообещающий и свободный период, насколько это возможно в стране, покидающей осточертевшие колеи марксизма-ленинизма и прочих утопических изобретений.

Нет на свете менее объективного читателя, чем я. И не только по той причине, что написана эта книга моими дорогими младшими подругами, которыми я не перестаю восхищаться. В вечном русском противостоянии “отцов и детей” я оказалась полностью на стороне этого прекрасного “детского” поколения. По крайней мере, той части его, которую я постоянно наблюдаю.

Есть в биографии Чулпан Хаматовой и Кати Гордеевой нечто общее: обе они приехали из провинции – одна из Казани, другая из Ростова – в самом начале девяностых годов завоевывать столицу. Вчерашние школьницы, наивные и мужественные, они ринулись в сложную московскую жизнь, учились, вырастали, умнели и становились строителями жизни.

Обе они профессионалы высочайшего класса, обе – многодетные матери, принимающие на себя все материнские заботы: беременность и кормление,

каши и яблоки, детские болезни, школы, занятия музыкой и разнообразные травмы – от беспричинных обид до переломов руки. Это нагрузка, которой хватило бы, чтобы жизнь была заполнена без остатка. Каким образом актрисе, два десятилетия работающей на пределе возможностей, и журналисту, начавшему свою работу в тринадцатилетнем возрасте и по сей день отзывающемуся немедленно на самые важные вопросы дня, удалось создать огромный благотворительный фонд, я не знаю. Но это так.

Пятьдесят лет тому назад, в дни, когда советские танки вошли в Прагу, семь человек вышли на Красную площадь, чтобы выразить свое несогласие с тогдашней политикой нашей страны. Это было ошеломляющее, героическое действие, которое носило разовый характер.

Многое изменилось с тех пор – на дворе другая власть, перед обществом и новые, и старые, но не решенные проблемы. И требуют они не одномоментного подвига, а ежедневной изнурительной работы. Фонд “Подари жизнь”, созданный Чулпан Хаматовой при поддержке друзей, единомышленников и просто людей, способных на сострадание, спас тысячи детских жизней. Это всем известно. Особенно родителям, дети которых живы благодаря усилиям фонда. Но “за кулисами” этого фонда происходит еще одно, не менее важное явление – рождается огромное сообщество людей, избавляющихся от нашей привычной инертности, от социального паралича, в котором десятилетиями лежала наша огромная страна. Оказалось, что можно встать и самим сделать то, на что у государства не хватает мотивации и мощности.

Взаимоотношения общества и государства в нашей стране традиционно очень сложные. В советские времена водораздел между народом и властью был непреодолимым, и на страже этой границы стояли бдительные отряды охранителей. Любое критическое слово в сторону власти каралось самым жестоким образом.

Ранняя юность Кати и Чулпан пришлась на время невиданной свободы слова, и эта прививка принялась – выросли два таких свободных существа.

В среде тех, кто отдавал себе отчет, чем нулевые отличаются от девяностых, а десятые – от нулевых, наметился раскол: более радикальные считали, что власть неспособна к диалогу, и полностью вернулись к испытанным схемам молчаливого отчуждения и осуждения, другие полагали, что разговор частного человека, представителя общества с властью не только возможен, но

и необходим.

Чулпан вела этот диалог. Одни люди ее поддерживали в этом разговоре, всегда сложном и не всегда успешном, другие осуждали. Сегодня, когда благотворительное и волонтерское движение развернулось по всей стране, всё очевиднее необходимость этого диалога. Не только для пользы дела, но и как средство морального воздействия на людей, занимающих высокие посты, но душевно очерстевших в своих начальственных креслах. Принятие “закона Димы Яковлева” – убийственное свидетельство потери здравого смысла и человечности бюрократическими “законопроизводителями”.

Чулпан Хаматова стучится в двери самых недоступных чиновников, чтобы сделать из них союзников и помощников. Мне кажется, что эта работа по очеловечиванию бюрократии тоже один из побочных, но важных результатов.

Каждое время ставит перед людьми свои вопросы – не абстрактные, а вполне конкретные. Мы не всегда их слышим, а когда слышим, не всегда хотим давать свои ответы. Но жизнь оказывается назойливой, снова и снова предъявляет все те же вопросы, пока мы не созреваем, чтобы дать ответ. И ответ этот зависит от многих причин, в том числе и от политической погоды на дворе: периоды “оттепели” сменяются периодами “заморозков”, и в соответствии с этим время надежд на какие-то благие, с небес падающие изменения сменяется временем утраченных иллюзий и больших разочарований.

Авторы этой книги – Катя и Чулпан – дают на вопрос сегодняшнего дня, может быть, лучший из всех возможных ответов: любить вне зависимости от погоды. Только любить. Это трудная работа, на этом пути подстерегают опасности растраты себя и выгорания. Но множество молодых людей готовы принять на себя этот большой труд. И в значительной мере благодаря усилиям этих замечательных подруг.

Читайте эту книгу! Она дарит надежду, придает смысл нашему существованию. Спасибо вам, дорогие Катя и Чулпан.

Время колоть лёд

Нашему талантливому, доброму и честному другу Сергею Кушнерёву с надеждой, что сумеем рассказать обо всем, что с нами случилось, так, чтобы не подвести его: правдиво и легко.

Благодарности

Мы благодарны всем тем, кто был рядом с нами всё это время, но, так вышло, не попал на страницы этой книги: к сожалению, в книжке – ограниченное количество страниц, в отличие от сердца, которое безразмерно. Мы вас очень любим. Каждого.

Мы очень благодарны нашим детям

Арине,

Асе,

Ие,

Саше,

Гоше,

Яше

и Лизе,

любимому мужу и папе Коле, бабушке Марине, дедушке Наилю, сестре Гульнаре, бабушке Ирине, дедушке Владимиру, бабушке Наде, дедушке Андрюше, няне Тане, няне Людмиле, няне Марине и няне Надюше и всем тем, кто был с нашими

детьми, пока мы писали эту книгу.

Большое спасибо Людмиле Улицкой, Дмитрию Муратову и Марии Липкович, первым внимательным читателям этой книги.

Глава 1. Метель

В конце мая 2016 года у кабинки женского туалета международного аэропорта Шереметьево собралась толпа: обычные посетительницы, уборщицы, дежурный наряд наземной службы. Затаив дыхание, все они слушают восклицания, повторяющиеся на разные лады из-за двери кабинки: “Я – Чулпан Хаматова. И я точно знаю: надежда есть!” Минут через десять дверь кабинки, наконец, открывается в ответ на настойчивый стук женщины-полицейского. “Так вы – это она и есть?” – женщина-полицейский смотрит то в паспорт, то на девушку из туалета. “Да, это я, – говорит Чулпан. И зачем-то прибавляет: – Простите, мне просто очень надо было”. Договорить не успела: все собравшиеся живо и радостно стали просить у артистки автограф и делать селфи прямо в туалете международного аэропорта Шереметьево.

На следующий день фраза “Я – Чулпан Хаматова. И я точно знаю: надежда есть!” звучит каждые полчаса в эфире популярной радиостанции Санкт-Петербурга. А еще через два дня – на всю Дворцовую площадь, в рамках благотворительного марафона.

К сожалению, ни на радио, ни во время концерта на Дворцовой никто не пояснял, каким образом была сделана запись.

“Слушай, я сходила, послушала – звучит отлично, – докладываю Чулпан, – но ты можешь объяснить, зачем в шереметьевском туалете-то?”

“Понимаешь, вообще-то мы должны были записывать это в студии, но у них что-то сорвалось, мне пообещали, что приедет группа, чтобы записать меня дома. Но группа опоздала. Мне надо было ехать в аэропорт. В машине – шумно: радио, все кругом сигналият. В аэропорту – постоянные объявления. А дальше я бы на

несколько дней оказалась без связи, интернета, а значит, какой-то возможности записать этот ролик. Я бы их подвела. А я обещала. В общем, единственное тихое место – это туалет. Ты только скажи, нормально звучало? А то в кабинке такой гул от вентиляции, боюсь, его слышно на записи”. Звучало нормально.

За двадцать четыре года до этого зимой в Москве, как и положено, стоял лютый декабрь. Снег падал медленно, засыпая на ходу. Снежинки захватили Театральную площадь в кольцо столь плотное, что незнающий человек не разглядел бы за ним ни белых колонн, ни охряного портика, ни бронзового Аполлона со рвущейся из рук квадригой. Единственный работающий на площади болезненно тусклый фонарь освещает ледяную брусчатку и фигуру человека, в чьи служебные обязанности входит, до того как через площадь, подняв воротники, пойдут на работу люди, окружающий лед побороть: расколоть, засыпать песком, стереть с лица Земли. То есть Москвы. Падающие снежинки не то чтобы борются с законом всемирного тяготения; им, кажется, просто лень его выполнять: подвисают, замирают и вдруг ползут горизонтально по серому декабрьскому небу. Потом снижаются на пару эшелонов, вцепляясь в зажмуренные глаза и раскрытый от старательности рот маленькой фигуры с ломом, стоящей посреди Театральной площади. Девушка в белой шапке с помпоном, синей лётной куртке с чужого плеча, огромных рукавицах отплевывается. Открывает глаза. Щурится на мигающий шестигранный фонарь. Сосредотачивается. Набирает в легкие воздух. Заносит над головой железный лом. И с выдохом опускает его в самое сердце похожей на черную рыбу льдины. Льдина, как живая, выворачивается. Лом соскальзывает и с грохотом падает. Она поднимает его. Обнимает обеими рукавицами. Снова вдыхает, готовясь ударить. Ледяной ветер забрасывает в открытый рот полную горсть снежинок. Она кашляет. Сердится. Выдыхает. Заносит лом и бьет, бьет, бьет по ледяной блестящей спине черной рыбины, наконец разбивая ее вдребезги: “Так тебе! Скоро люди пойдут. Уходи, исчезни!” Льдина наполовину исчезает.

Дворника, в чьем ведении квартал вокруг Большого театра, зовут Чулпан Хаматова. Полгода назад она приехала учиться в московский ГИТИС из Казани. По знакомству нашла работу, о которой мечтают все лимитчицы начала девяностых. Для верности загибая внутри рукавицы окоченевшие пальцы, Чулпан подсчитывает: дворницкую комнату в центре Москвы, в здании Центрального детского театра, прямо на Театральной площади, ей обещали дать через год работы. Она уже три месяца – дворник. Значит, следующей осенью, под шелест листьев, под шум дождя, комнату непременно дадут. А до

этого будет лето. До него – весна. А до нее – еще три месяца зимы. И эти ледяные, не поддающиеся тяжелому лому черные спины. Привалившись к круглосуточным палаткам, расставленным по периметру площади, немногочисленные ночные гуляки нетрезво наблюдают за происходящим. На часах половина шестого утра. К метро “Театральная” по расчищенным ею дорожкам уже идут люди. Чулпан замахивается ломом на недобитую черную наледь, коварно притаившуюся в изгибе дорожки. Сердобольный прохожий, притормозив, помогает: придерживает лом, направляя его в самую толщину льдины, сухо, но ободряюще кивает и спешит к метро. Чулпан засыпает ледяные пробоины рыжим песком. Сгребает лом, лопату и ржавый лоток. И последний раз в жизни относит их в дворницкую: ей эту зиму никогда не одолеть; ей эту комнату никогда не заслужить.

Сразу за Театральной площадью – тот самый Центральный детский театр[1 - В 1992 году Центральный детский театр был переименован в РАМТ – Российский академический молодежный театр.]: там вечером спектакли, а утром занятия студентов ГИТИСа. Если войти в театр до начала занятий через служебный вход, оставить в дворницкой камере лопату, лом, совок, валенки и лётную куртку, пробежать через сцену и зрительный зал к вестибюлю, то можно очутиться на самом мягком и удобном в мире диване: он стоит в самой сердцевине театра.

Декабрьское солнце заглядывает в высокое театральное окно, ползет по щербатому паркету, карабкается на желтую стену и бессильно исчезает за тучей. До начала занятий два с половиной часа. Чулпан прямо в одежде вытягивается на диване. И сразу засыпает.

Это декабрь 1992 года. Тем же утром, может, днем позже или неделей раньше, на Казанский вокзал Москвы из Ростова-на-Дону прибывает поезд “Тихий Дон”. Я сижу в коридоре вагона, вжимаясь в мутное окно лбом. Пытаюсь разглядеть знаки, которые подает мне встречающий город. Но их нет: просто идет снег. Муха, зажатая между стеклами двойной рамы, вдруг просыпается и пытается улететь навстречу мельтешащим снежинкам, видимо, приняв их за родных. Но быстро сдается. И до самого прибытия поезда сидит смирно. Чем ближе к Москве, тем затейливее путь: рельсы разлетаются, внезапно соединяясь, бегут рядом, а потом опять расходятся в разные стороны. Казанский вокзал накрыт крышей, под ней снуют люди: цыганка с торчащим из-за пазухи младенцем, молодой солдат без ног, толстый милиционер без интереса, большая семья с коробками, авоськами и растерянной бабушкой, которую, очевидно, куда-то отправляют без обратного билета, но она – смирилась. На мне джинсы-бананы

и дутая бесформенная куртка поверх длинноворсового свитера с некрасивым рисунком, такие у нас в Ростове покупают на вещевом рынке, стихийно образовавшемся вдоль высохшей речки Темерник. У меня длинная коса, которой я стесняюсь. На вокзале я долго выбираю, у кого спросить, где вход в метро. Мне кажется: все знают, где он, и, спросив, я сразу выдам в себе приезжую. Спрашиваю милиционера. Брезгливо указывает в неопределенную слякоть привокзальной площади. Я тыкаюсь в один высокий дубовый вход, в другой. С третьего раза попадаю. Мне надо доехать до редакции газеты “Комсомольская правда” и отдать рукописи со своими стихами и эссе журналисту, чьи заметки я каждую неделю жду и перечитываю по несколько раз. А потом еще – каким-то образом добраться до Телецентра. Это пятнадцать минут на маршрутке от метро “Алексеевская”, как объяснила мне моя старшая подруга, за которой, собственно, я и поехала в Москву, – подругу взяли стажироваться в известную на всю страну “Телекомпанию ВИД”. Я почти уверена, что мои стихи и заметки никого не заинтересуют, а на порог Телецентра – не пустят. Но журналист “Комсомольской правды” читает врученную ему стопку напечатанных на пишущей машинке букв полтора часа, прямо на моих глазах запивая коньяком и закуривая пачкой модных сигарет Monte Carlo. Он же пишет мне на листочке, как добраться до Телецентра. И оставляет свой телефон, чтобы “звонила, если что”. КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА

ЧУЛПАН ХАМАТОВА: Неужели ты совсем не верила, что у тебя что-нибудь получится?

КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Мне было так страшно, что я даже не думала, получится или нет. Было ощущение: сейчас все узнают, что я самозванка. Меня разоблачат и выведут из Москвы за ухо! Но еще было ощущение окна открывшихся возможностей. Метель, метро, в котором надо разобраться, путаница останкинских коридоров, люди в них, которые четко жестикулируют и уверенно говорят, – они другие, непохожие на тех, что я видела прежде. И вот у меня как будто есть шанс оказаться среди них.

ХАМАТОВА: Я тоже совершенно не представляла себе, как и что должно произойти, будет происходить со мной в Москве. Всё, что я намечтала, напридумывала себе в Казани, оказалось не соответствующим действительности и резко отличалось от всего, что со мной было раньше: я жила с родителями, а теперь вдруг сама по себе, и передо мной открывается бездна большой самостоятельной жизни, где я взрослая, отвечаю за себя и именно от меня

зависит, осуществится моя мечта или нет. И эта новая жизнь, наполненная энергией развития, невероятно захватывала.

Двадцать пять лет спустя мы курим на заснеженном пяточке перед Басманным судом Москвы. Каланчевская улица, дом 11. За углом – тот самый Казанский вокзал, на который мы, одна за другой, однажды приехали в Москву. Лед вокруг разбивают приезжие из Средней Азии в одинаковых ладно сшитых форменных жилетах. Аккуратный скверик у вокзала не подразумевает ни цыган, ни мешочников, ни палаток, ни бомжей. Милиционеры на европейский лад стали полицейскими, в метро все указатели продублированы на английском, ветки переименовали по цветам, а каждая следующая станция мигает на схеме внутри вагона предупредительным кружком.

В Басманном суде, у которого мы курим во время перерыва, идет очередное заседание по так называемому “театральному делу”: судят нашего друга режиссера Кирилла Серебренникова. Одна из нас выросла с ним по соседству в Ростове-на-Дону, училась в одной школе и сохранила дружбу на всю жизнь, другая, познакомившись и подружившись в Москве, сыграла в нескольких важных спектаклях режиссера главные и, возможно, лучшие свои роли, став другом, единомышленником и соратником. Для каждой из нас этот процесс, “дело Серебренникова”, – новая точка отсчета жизни и времени, в котором мы живем. КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА

ГОРДЕЕВА: Ты понимаешь, что твое столь активное участие в судьбе Кирилла может стоить тебе карьеры, репутации?

ХАМАТОВА: Какой репутации? О какой репутации, Катя, может идти речь, когда несправедно судят человека, в чьей порядочности я не сомневаюсь?

ГОРДЕЕВА: О чем ты думала, когда одной из первых в день задержания Серебренникова в мае две тысячи семнадцатого примчалась к “Гоголь-центру”?

ХАМАТОВА: Я думала, что мой друг в беде. И еще, как ни странно, я думала о своих детях, о том, какими словами буду теперь говорить с ними, о чем... В мире, где рушатся все законы и правила справедливости, где могут плюнуть, оскорбить, обвинить, растоптать и, как выясняется, арестовать невинного,

очень трудно объяснять детям, что надо идти до конца, не предавать и оставаться собой. Чего бы это ни стоило. В общем, я села в машину и поехала к “Гоголь-центру”, потому что другое место, куда надо было ехать в день, когда начались эти аресты и обыски, мне в голову не пришло.

ГОРДЕЕВА: Иногда мне кажется, что все происходящее – не наша жизнь. Просто мы попали в какую-то книгу из детства, где надо победить зло. Однако в первой половине книги, по драматургическим соображениям, героям это не удается.

ХАМАТОВА: Это и есть наша жизнь, которая сейчас сделала, на мой взгляд, необратимый поворот, ставящий под сомнение многое из того, во что мы верили, но и проявляющий людей, высвечивающий их по-особенному. Может быть, мы читали эти книги и влюблялись в их героев для того, чтобы знать, как себя ведут в сложных ситуациях. И не поддаваться никаким провокациям: не предавать никого и прежде всего себя.

ГОРДЕЕВА: В сущности, не такой большой подвиг.

ХАМАТОВА: В сущности – да. Но ты же видишь, для скольких людей даже это оказывается невыполнимой задачей. Хотя, по правде говоря, таких людей вокруг нас не так уж и много. Наш главный в жизни подарок – наши друзья, люди, которые окружают нас, с которыми нам посчастливилось жить, находиться рядом. И, знаешь, глядя на них, совершенно невозможно вести себя как говно.

Глава 2. За шкафом

Перерыв в заседании Басманного суда объявлен на час, продлен еще на полчаса. Но длится уже больше двух часов. Сейчас 16:00. Вечерний спектакль у Чулпан – в 19:00. Он закончится около десяти вечера. А потом в ресторане напротив театра у Хаматовой встреча, на которую – уже сейчас понятно – нет сил. Но идти надо: пока мы ждем в суде конца перерыва, Чулпан приходит короткое сообщение. Она читает его вслух: “Им очень нужен облучатель крови (7 млн). И, если можно, еще холодильник для хранения плазмы крови (9 млн). Спасибо!” Это сообщение – инструкция для запланированной встречи: вечером Хаматова будет разговаривать с богатым человеком, выразившим готовность помочь одному из региональных проектов фонда “Подари жизнь”. Смысл проекта – организация

работы отделений трансплантации костного мозга в больших российских городах. Врачей таких отделений учат московские врачи при поддержке благотворительного фонда “Подари жизнь”; в самих отделениях, как правило, силами фонда и местной администрации, сделан ремонт, закуплены лекарства и расходные материалы. Но для того, чтобы вот это конкретное региональное отделение работало так, как принято во всем мире, ни на что не оглядываясь, минимально рискуя детской жизнью, нужны, выходит, облучатель и холодильник.

Значит, после того как закончится суд и пройдет спектакль, Хаматова должна будет пойти и попросить на облучатель и холодильник деньги у прежде незнакомого богатого человека. КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА

ГОРДЕЕВА: Сколько ты с ним просидишь?

ХАМАТОВА: Надеюсь, не дольше полутора часов. Как получится. Мне же надо будет всё ему объяснить: и про аппарат, и про отделение.

Но со встречи она приходит намного раньше, чем предполагала: “Ты представляешь, этот человек оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. Он просто хотел встретиться с артисткой, а денег у него нет”.

ГОРДЕЕВА: Как ты это поняла?

ХАМАТОВА: Сразу. За десять лет существования фонда я научилась точно определять, у кого есть деньги и кто действительно их даст, а кто – обманет.

ГОРДЕЕВА: Ты сама часто врешь?

ХАМАТОВА: Нет. Мне трудно. Может быть, у меня в профессии столько вранья, что я на сцене навираюсь – так можно сказать? – на всю жизнь. Но я очень много врал в детстве.

ГОРДЕЕВА: Я в детстве врала постоянно. Я прямо жила в этом навранном мире. Ты про что врала?

ХАМАТОВА: Про всё. Вот именно что: навирала целый мир. Я была полностью опутана ложью: выдуманными историями, в которых мне было необходимо существовать, помнить все концы, всё предыдущее вранье, потому что надо было не сбиваться, чтобы выглядеть достоверно перед всеми теми, кому я вру!

ГОРДЕЕВА: А ты зачем врала? Чтобы привлечь внимание?

ХАМАТОВА: Совсем нет. Я не хотела никакого внимания. Просто это была другая, вроде бы моя, но на самом деле не моя, а какая-то волшебная и таинственная жизнь. Как будто бы тоже моя, но лучше и интереснее. И я в нее искренне верила.

ГОРДЕЕВА: Самое чудовищное твое вранье – какое?

ХАМАТОВА: Оно было не самое чудовищное, а, наверное, самое долгое, самое такое... заблужденное. Это была длинная история, которую я рассказывала изо дня в день своим одноклассникам, и она постепенно сложилась в параллельную жизнь. Идея была в том, чтобы после школы кругами водить своих одноклассниц по городу, а они, открыв рот, слушали бы и слушали твои байки. И важно, чтобы они ни на секунду не потеряли веры. Надо говорить, не останавливаясь, не упуская никаких мелочей, но и не путаясь.

ГОРДЕЕВА: О чем, например?

ХАМАТОВА: Например, о заброшенном доме, в котором живет злая женщина, у этой женщины есть дочь, точнее была, потому что эта злая женщина (а дом – не просто дом, а пряничный домик, какие и должны быть в лесу) страшно издевалась над своей дочкой и однажды даже решила сжечь дом вместе с малышкой! И тогда моя мама спасла эту девочку из горящего пряничного домика и забрала жить к нам. Но так как мы боимся, что та плохая женщина опять будет искать свою дочь, то у нас в шкафу – а речь, Катя, идет о шкафе, который стоит в однокомнатной квартире, в хрущевке, – есть потайная дверь, и там живет эта девочка. “И когда-нибудь я вам ее покажу, – говорила я одноклассникам. – Но это не так-то просто, потому что, во-первых, она до сих пор всех боится. А во-вторых, у нее черная рука после пожара так и осталась!”

ГОРДЕЕВА: Ты это говорила, представляя, что ты актриса, ты на сцене?

ХАМАТОВА: Что ты! Конечно, нет. Я отчетливо представляла себе маленькую несчастную девочку, почти мою сестру – но ведь она и была как бы моей сестрой! И у нее, знаешь, такая головешка вместо руки. И вот она вынуждена жить в нашем шкафу, света белого не видит!

Эта история изо дня в день обростала новыми подробностями, я придумывала что-то новое, какую-то еще деталь, какой-то штрих. Но было очень сложно, потому что я забывала переключаться и несколько раз проговаривалась маме о девочке, которая сидит у нас в шкафу. По счастью, мама, видимо, занятая своими делами, не обращала на эти рассказы особого внимания. И я так и жила с девочкой, с сестрой своей воображаемой.

А ты про что врала?

ГОРДЕЕВА: Я в основном для себя выдумывала. У меня в детстве не было друзей. Я была нелюдиминой: мне было трудно заговорить, познакомиться. И уж точно я бы не смогла рассказать историю свою кому-то другому.

ХАМАТОВА: Как же, Катя, ты в итоге стала журналистом?

ГОРДЕЕВА: Я же стала телевизионным журналистом. Это значит, что при любом моем непосредственном общении с людьми присутствовали, как минимум, два человека: оператор и звукооператор. И телекамера. И это придавало мне если не сил, то уверенности в себе. Но в детстве я всё придумывала сама про себя, для себя: истории про воображаемых друзей и несуществующих родственников. То я решала, что я дочь автогонщика, который от меня отказался, потому что я на него не похожа, то, увидев афишу – теперь понимаю какого – спектакля, влюблялась в фамилию Заречная, убеждала себя, что зовут меня Нина и тайком репетировала сцены знакомства: “Здравствуйте, меня зовут Нина. Нина Заречная”.

Еще я знала, где в нашем районе находится дом большой цыганской семьи. И я часто ходила смотреть, как там эти цыгане живут. Я проходила мимо по тысяче раз за день, приподнимаясь на цыпочки, заглядывая в окна. Это был странный дом, обклеенный изнутри вместо обоев газетами, причем в каждой комнате –

разными. В одной – старыми и пожелтевшими, явно пережившими героев своих передовиц. В другой – из совсем недавнего времени: дешевыми, тонкими, пачкучими или, наоборот, богатыми, деловыми: бумага белая, заметки набраны модным шрифтом. Мебели в этом цыганском доме почти не было. Только в самой большой комнате – стол. На нем – почти всегда – ваза с фруктами. У стола несколько разномастных стульев. Из комнаты в комнату дома, во двор и на улицу постоянно перемещается куча женщин и детей. Главу семьи, цыганского барона, я пару раз видела на улице: высокий, седой, синеглазый. Смуглый. С бородой и огромными руками, на каждой – по серебряному кольцу. Можешь себе представить, какое он на меня производил впечатление? И вот я вообразила себе, что мы с ним дружим. Что он приглашает меня в этот дом, усаживает, ставит на стол фрукты. Мы с ним долго разговариваем. И я мысленно вела эти разговоры, выглядела в них умной, образованной девочкой, достойным собеседником цыганского барона. Главное же, я как будто знала запах этого цыганского дома (запах газет), видела фрукты в вазе, слышала хриплый голос хозяина. Спроси меня тогда, я бы один за другим пересказала наши разговоры. Хотя, разумеется, ни одного не было.

Но главное мое вранье было публичным и пришлось на первую половину первого класса. Если честно, я сейчас уже не помню, было ли у этой истории реальное начало или я все придумала от первого до последнего слова. Но суть в том, что моей соседкой по парте с самого первого дня первого класса была Вера Забураева. Недели через три после начала учебы я пришла домой и говорю своим: “У Веры Забураевой умерла мама”. Мои мама, папа и бабушка, конечно, заохали, заохали. Передавали какие-то утешительные слова, велели спросить, чем помочь, что нужно. Каждый день, когда я возвращалась из школы, спрашивали: “Как там Верочка?” А вскоре, когда накал переживаний стал спадать, я пришла домой и сообщила, что у Веры вот умер и папа. Видимо, не выдержал горя. Все домашние опять в слезы: “Да как же так, бедная Вера!” Но я не останавливалась. И еще через несколько дней твердо сообщила, что, не перенеся выпавших на ее долю страданий, у Веры умерла бабушка, последний родной человек. Мои родители всерьез обсуждали перспективу удочерения Веры. Мама была настроена решительно. Тут подоспело родительское собрание, на которое мама пошла с уже готовым семейным решением: забрать к себе несчастную Веру.

Маминой соседкой по парте на собрании оказалась яркая брюнетка, которая бодро представилась: “Здравствуйте, я мама Веры Забураевой”. Моя мама, конечно, проявила чудеса выдержки, спокойно поздоровавшись с ней. Дома она задала только один вопрос: “Зачем?”

ХАМАТОВА: И что, вот что ты ответила?

ГОРДЕЕВА: Не помню. Но хорошо помню, что в моем внутреннем мире всё было ровно так, как я рассказывала. Я верила в эту историю, я рыдала по ночам, сострадавая Верину горю. Ни с чем плохим живая и настоящая Вера, моя одноклассница, у меня не ассоциировалась. Это были две параллельные истории, они не пересекались.

ХАМАТОВА: Слушай, я понимаю, о чем ты: я в свои истории верила от начала и до конца, безоговорочно. История девочки с рукой-головешкой кончилась, когда после каникул одна моя подружка заявила: “Мой папа – врач. И он сказал, что не бывает девочек, которые могут жить с обгоревшей рукой”. Я внезапно оказалась на грани провала, но проваливаться мне совсем не хотелось. И я зажмурилась и сказала: “Ах, ты не веришь?! Пойдем, я тебе ее покажу”. Мы пошли к нам домой, поднялись, я провела ее в нашу однокомнатную квартиру и...

ГОРДЕЕВА: И?

ХАМАТОВА: Я распахнула шкаф. Знаешь, я, кажется, сама не ожидала, что там никого не будет. И в ужасе прошептала: “Ой, замуровали!” Катя, я до последнего была убеждена, что в шкафу окажется эта девочка, и подружка увидит, что я говорю правду... Мы обе ахнули и тихо вышли из дома. Но примерно тогда же возникла другая история – про мою далекую и странную бабушку. История, тесно связанная с географией нашего пути из школы домой: он проходил через ту прекрасную деревянную Казань, которой теперь нет, которую я нежно люблю и по которой бесконечно скучаю. Мы с девочками, возвращаясь из школы, доходили до полуразвалившегося дома, из перекрытий которого росли кусты, а внутри нехорошо пахло. Там были черные окна без стекол, всё выглядело по-сказочному зловеще. Мы около этого дома останавливались, и я говорила подружкам: “Девочки, подождите меня, пожалуйста, мне надо проведать бабушку”. Заходила в дом, присаживалась к окну на корточках, делала вид, будто ем какой-то суп, сваренный “бабушкой” из корешков, грибов и сухих трав. При этом я точно понимала, что “бабушку” девочкам с улицы не видно. Но я с ней разговаривала: “Да, бабушка”, “Нет”, “Очень вкусно”, “В школе все замечательно”, “Сейчас, девочки, подождите!”, – это я уже из открытого окна им кричала.

Они стояли как вкопанные и ждали, пока я, значит, поем и с бабушкой поговорю. Я понимала, что они струсят заходить в дом. И поэтому кричала в открытое окно: “Проходите сюда, давайте пообедаем вместе, бабушка зовет!” Две-три или даже четыре девочки, – сколько мне удавалось наловить слушателей и зрителей, – отвечали: “Нет-нет, спасибо, мы здесь подождем...”

Вскоре все в школе знали: у меня в заброшенном доме у школы живет бабушка. Знала это и наша учительница Нина Александровна, девочки ей рассказали. Однажды мы шли после родительского собрания вместе – я, мама и Нина Александровна. И, проходя мимо “бабушкиного” дома, Нина Александровна вдруг говорит моей маме: “Ой, мне девочки сказали, что у вас тут бабушка живет. Надо же, ее до сих пор не выселили? А у меня тут когда-то жила подруга, так ее выселили из-за того, что дом аварийный, а бабушку вашу, значит, оставили”. Мама чуть не упала: “Какая бабушка?” А я нет чтобы смолчать, перевести тему, как-то отвлечь маму, стала, наоборот, говорить: “Ну как, мама? Наша бабушка. У нас же бабушка в этом доме живет, ты что!” Мама с каменным лицом: “Какая бабушка? У нас нет никакой бабушки в этом доме”. А я уже не могу отступить: “Мама, ну как же? Наша бабушка, которая варит мне суп из сухих трав”.

ГОРДЕЕВА: И о чем ты в эту минуту думала?

ХАМАТОВА: Я представляла “свою бабушку” полуведьминского вида, которая меня любит, кормит волшебным нашим супом, встречает после школы. И что вот сейчас, отказавшись от самого факта ее существования, я ее как будто предаю. Понимаешь?

Того, что этой бабушки нет и никогда не было, я так и не признала. Никогда. Дома был страшный скандал: опять вранье, зачем вранье-то это? Я молчала. И больше, конечно, никому ничего не рассказывала. Но это вовсе не значило, что я признала бабушку несуществующей и сдалась. Знаешь, я думаю, что на самом деле наше вранье не было никаким враньем. Просто мы наполняли жизнь объемом, красками, воздухом, которых нам не хватало, расширяли ее до необходимого, соответствующего ожиданиям масштаба.

Глава 3. Остров

ХАМАТОВА: Мне больше не хочется быть актрисой. Совсем. Как будто у меня кончились для этого силы. Или это потеряло смысл. Вот я смотрю на тебя: у тебя в силу политических, общественных обстоятельств отобрали профессию. Ты больше не можешь быть тем, кем ты должна быть, кем ты была и в чем преуспела: телевизионным журналистом. Это очень горько, но есть возможность объяснить, что случилось, как это произошло, а мне... Мне иногда кажется, что передо мной тупик.

ГОРДЕЕВА: Но разве театр – это не твоя мечта, которая сбылась?

ХАМАТОВА: У меня никогда в жизни не было уверенности, что театр – это вот стопроцентно мое: призвание или дело жизни. Скорее, это была договоренность между собственной совестью и невозможностью не попробовать. Я с детства понимала, что мне это нравится, что я как зритель просто схожу с ума на спектаклях, а когда смотрю какое-нибудь хорошее кино, потом неделю не могу вернуться в реальность. Я чувствовала магию и власть искусства, которые транслировались на отдельно взятую девочку Чулпан, сидящую в зрительном зале. Это была не то что другая планета – другая вселенная!

Но параллельно в моей вселенной – на земле, а не в космосе – всё довольно удачно складывалось: я сдала экзамены и поступила в математический класс при Казанском государственном экономическом институте. Так что, окончив школу, я была автоматически принята в этот институт, тогда это считалось очень хорошим стартом. Было такое поветрие времени: самыми престижными считались профессии бухгалтера, аудитора и всё, что с этим связано, а технические профессии, которыми так гордились мои родители, уже не котировались и не были нужны. Так что мое положение всем вокруг казалось весьма и весьма перспективным. И только где-то там, в самой глубине моего сознания, еле-еле дышало затюканное, униженное и робкое желание все-таки оказаться в мире театра.

ГОРДЕЕВА: Тебя в этом кто-то поддерживал?

ХАМАТОВА: Ты знаешь, я смотрела не на кого-то, а на что: на библиотеку имени Ленина в городе Казани. Какое-то время эта библиотека, это невероятной красоты здание, было для меня лучшим другом и главным источником вдохновения. Там были потрясающие залы. Один даже с гротом, в котором текла вода. Вот ты сидишь, под шум воды читаешь книги, никого вокруг нет, и ты –

улетаешь. Из окна был виден Казанский университет – это самая красивая, старая часть города. Это было для меня настоящее счастье – ходить в библиотеку. Тем более что там работали потрясающие женщины, они постоянно мне что-то подсовывали: “А вот не хотите прочитать дневники Олега Даля? Вот дневники Фаины Раневской. А вот – дневники Даниила Хармса”. Тогда всё это только стало появляться. Не говоря уже о Лотмане, Лосеве, Бердяеве... Не знаю, что я там понимала и понимала ли хоть что-то, но сам процесс чтения и атмосфера, в которой всё это происходило, давали мне возможность парить над действительностью. Мне было пятнадцать лет – самый удачный возраст для парения.

ГОРДЕЕВА: Я в библиотеке провела, кажется, самое сказочное лето своей жизни. Здание нашей библиотеки – очень необычное для Ростова. Влюбленный купец Пармонов подарил его своей избраннице, построив по образцу какого-то увиденного им в путешествии венецианского палаццо. Там были сумасшедшая парадная лестница, высоченные потолки и огромные венецианские окна, которые в оригинале, видимо, должны были выходить на Гранд-канал. А в Ростове – смотрели на полный тополей сквер с каменным фонтанчиком. Фонтан журчал. Пух от тополей кружился и влетал в раскрытые окна библиотеки, путешествовал по залам и оседал на чьем-нибудь плече. Я до сих пор помню такую тополиную пушинку на плече впередисидящего студента, про которого можно было понапридумывать себе всякого, никогда даже не увидев его лица, но подглядев через плечо, что он читает. Я часами читала в этой библиотеке всё подряд. А иногда ничего не читала, просто сидела на подоконнике огромного окна, выходившего на единственную пешеходную улицу Ростова – естественно, Пушкинскую. В соседнем с библиотекой здании был факультет филологии и журналистики, в подвале которого свои первые спектакли ставил тогдашний выпускник ростовского физтеха, а в будущем – российский режиссер с мировым именем Кирилл Серебренников. И попасть в подвал на его спектакли было невозможно. Это было очень модное место.

Когда мне было пятнадцать, на факультете филологии и журналистики открыли отделение романо-германской филологии. И я туда поступала, как медалистка, по итогам собеседования, досрочно. Так что ни к каким экзаменам в библиотеке мне готовиться не надо было. Я туда ходила просто для того, чтобы проводить время, рассматривать студентов, воображать, что я часть этой яркой, чужой, почти взрослой жизни.

ХАМАТОВА: Для меня библиотека – это тоже настоящий побег из действительности. Представь себе: Казань, расцвет гопников, какие-то мутные группировки, к которым ты обязательно должен принадлежать, а библиотека – единственный в мире остров, где ничего этого нет. И, кстати, тогда в моей жизни произошло еще одно судьбоопределяющее – так говорят? – событие. Тем же летом, когда я влюбилась в библиотеку, я впервые поехала в “Квант”.

ГОРДЕЕВА: Что это такое?

ХАМАТОВА: Если ответить одним предложением, то для меня это был мир, о существовании которого я не только не могла мечтать, я даже не знала, что такое может случиться со мной, в моей, в общем-то, обыкновенной, скучной провинциальной жизни. Это был экспериментальный научный лагерь, куда брали старшеклассников. И мы там занимались математикой, химией, физикой. Каждый школьник выбирал себе программу, науку, которой был увлечен: если хотел быть химиком, то выбирал химию, если математиком, то математику. Но в дополнение ко всему этому там были еще программы, о которых никто в советской школе не слышал: соционика, психология, социология. Постепенно выяснялось, что школьники – это не какая-то масса, которой ничего не интересно и которую можно только заставлять зубрить бесконечно скучные предметы, а это люди, в которых можно пробудить интерес. Главное же – нам давали возможность быть самостоятельными. Представь, как это важно, когда тебе пятнадцать-семнадцать лет: мы сами принимали решения, сами выбирали программы, по которым будем учиться, мы сами – и это, наверное, самое крутое, Катя! – сами были ответственны за свою сиюминутную жизнь в “Кванте”: решали, что будем покупать из продуктов, что будем брать с собой: договорились – гречки, значит, надо было везти с собой гречку и рассчитать ее количество так, чтобы хватило на всё время пребывания в лагере; мы сами организовывали и распределяли дежурство у костра и сами понимали, что если после ужина не помоем посуду, то с утра нам не из чего будет есть.

ГОРДЕЕВА: А кто вами руководил?

ХАМАТОВА: Мы сами собой руководили.

ГОРДЕЕВА: Хорошо, кто давал вам возможность руководить собой?

ХАМАТОВА: Был такой в Казани удивительный человек Павел Шмаков. Он потом благополучно эмигрировал в Финляндию. Но потом. А тогда мы просто чудом встретились с потрясающим педагогом, который понимал, что для того, чтобы подростков чем-то увлечь, их нужно вырвать из душной атмосферы скукоты, ненужности и обязаловки. И он вырвал нас самым простым и прямым способом: вывез из города на природу, надел на всех рюкзаки, заполнил эти рюкзаки гречкой и пшенкой и дал нам возможность смотреть на мир во все глаза.

ГОРДЕЕВА: Надолго?

ХАМАТОВА: На месяц. Нас было около двадцати человек: школьники и студенты Казанского университета, которые нас опекали. Мы жили в очень красивом месте под названием Красновидово, где не было никакой цивилизации вообще. Лагерь стал самым прекрасным и смыслообразующим событием моей жизни. Последние три-четыре школьных года были пропитаны ожиданием того, что наступят каникулы и я поеду в “Квант”, где будут другие люди, одетые не по дурацкому фэшн-сценарию, принятому в гопнической субкультуре, заполонившей тогдашнюю Казань. Нет. У них будут феньки, хайратники, драные джинсы, длинные волосы у мальчиков. Они будут петь песни на английском языке и читать книжки, много книжек. Мы будем вечерами смотреть диафильмы, путешествуя по самым великим музеям мира, открывать для себя у костра обэриутов и Серебряный век. И единственное желание было – лишь бы это не кончалось. Но оно кончалось: кончалось лето, и я должна была возвращаться в школу, где преподавали литературу по учебнику, заставляли ходить “как все”, хотя уже была отменена школьная форма, и делали всё, чтобы я забыла, что есть на этом свете другие люди, которые, как и я, не хотят подстраиваться под чье-то мнение, а хотят свободы. Или, как минимум, возможности оставаться собой.

ГОРДЕЕВА: И ты убегала в библиотеку.

ХАМАТОВА: Библиотека была компромиссом, моим невозможным островом, где важность проведенных в “Кванте” дней и недель не ставилась под сомнение. А свобода, искусство, знания – были ценностью. На мое счастье, после “Кванта” у меня появились друзья, с которыми прочитанные “на острове” книги можно было обсуждать. Еще до поступления в Казанское театральное училище я знала, кто такой Арто и что такое театр жестокости, например, и уже успела с кем-то поговорить об этом. А потом с удивлением обнаружила, что Арто – в программе третьего-четвертого курса ГИТИСа. И мои сокурсники узнавали о нем именно

тогда, на занятиях.

ГОРДЕЕВА: Почему ты решила идти именно на актерское? Не на сценарное, не на режиссуру... Считается же, что артисты, в целом, поглупее режиссеров. Ну и вообще от них на сцене мало что зависит.

ХАМАТОВА: Я себя, Катя, умной никогда не считала. Да и до сих пор не считаю. К тому же, понимаешь, всё, что со мной происходило на спектаклях или фильмах, это ведь проделывали со мной артисты! Это же они были теми волшебниками, которые переворачивали мой мир.

ГОРДЕЕВА: И ты пошла в театральное, еще учась в школе?

ХАМАТОВА: О нет! Я проявила мудрость. Я пошла туда, окончив школу и поступив на аудиторский факультет финансового института.

Только ведь детство – это же территория абсолютного знания правды. И, уже поступив в институт, я поняла, что никогда не прощу себе, если не попробую исполнить мечту. При этом я была твердо уверена, что меня никуда не возьмут, в этом у меня не было никаких сомнений. Но в то же время я понимала, что не выпустить наружу страсть, которая во мне тлела, я не могу. Я как будто увидела себя в будущем: пройдет много лет, и сидя за бухгалтерскими отчетами, я вдруг пойму, что никогда себе не прощу, что даже не попробовала. Именно в этот момент, вот в том самом библиотечном зале со звуком льющейся в гроте воды и видом на Казанский университет, у меня в руках оказалась книжка “Бегущая по волнам”, в начале которой, если помнишь, главный герой, вспоминая свою жизнь, говорит о несбывшейся мечте.

ГОРДЕЕВА: Этот фрагмент мне всё мое детство пересказывала бабушка, которая мечтала стать летчицей. И не попробовала. Она так всегда горько и отчетливо произносила это словосочетание: несбывшаяся мечта, что меня охватывала тоска.

ХАМАТОВА: Именно! Меня это словосочетание сразило наповал и определило дальнейший план действий. Будучи уверенной, что меня всё равно никуда не возьмут, я точно понимала, что не смогу жить с несбывшейся мечтой.

Глава 4. Пазл

Мы безнадежно застряли в пробке. Таксист щелкает радиостанциями. “Дворники” гоняют по лобовому стеклу крупные капли. Поварская стоит, подсвеченная красными стоп-сигналами застрявших на ней дорогих машин. Выхлопной газ поднимается вверх: мы в багряном неподвижном облаке. Навигатор обновляет время пути в бо?льшую сторону: предлагает проехать оставшиеся пятьсот метров то за десять минут, то за двадцать, а то вообще неизвестно за сколько. Таксист цыкает зубом: “Девоньки, стояк!”

Мы переглядываемся: “Побежали?” И выпрыгиваем из машины. Чулпан впихивает в сумку красивый, с тисненой золотом обложкой ежедневник, а за ним второй – точно такой же, на ходу приговаривая: “Катастрофа: январь совершенно пустой, в марте всего несколько дней, половина лета. Если опоздаем, ничего не заполним. Давай скорей”.

Мы скользим по льду, покрытому слякотью, несколько раз едва не падаем, но бежим: в туфлях, без шапок – мы же на светское мероприятие! – бежим со всех ног.

Очередь в кинотеатр “Октябрь” сплошь из знаменитостей. Это – декабрь 2016-го. Цвету столичного общества впервые покажут закрепляющий морально-нравственные ориентиры последнего времени русский блокбастер о том, как князь Владимир стал христианином.

Главы телекорпораций, чиновники, артисты, спортсмены, светские львы и львицы некрасивой промокшей толпой входят в кинотеатр с морозной улицы и тут же оказываются в хитрой инсталляции из елок и деревянных предметов, якобы принадлежащих эпохе князя Владимира и его товарищей. Звучит тревожная музыка.

Мы работаем локтями. Нам надо оказаться в зале раньше всех, узнать, кого сможем, и у узанных взять автограф. Через две недели в Лондоне назначен благотворительный бал фонда “Подари жизнь”, в конце которого – аукцион. Красивый ежедневник в обложке с золотым тиснением – главный лот этого аукциона. И главный повод, по которому мы оказались на этом светском мероприятии. План такой: опознав знаменитость, мы подходим, улыбаемся, по

очереди объясняем, что собираем для аукциона фонда в специальный ежедневник автографы и пожелания на каждый день от самых известных людей страны (в голове стучит: январь пустой, март полупустой, на летние месяцы тоже почти нет пожеланий). После этого Чулпан протягивает ежедневник, а я снимаю айфоном: во время аукциона участников должна вдохновить записанная на видео процедура сбора подписей.

В зале – кромешная тьма. И оказывается, что надо одним айфоном светить подписывающим, а другим – снимать. Многие уже расселись по своим вил-местам. И к ним Чулпан приходится подползать на коленках. До начала показа двадцать минут. За это время мы успеваем собрать сорок четыре автографа (пару раз, правда, ошиблись, подойдя к одним и тем же знаменитостям дважды): у Собчак, Эрнста, Козловского, Юдашкина, Лунгина и Виторгана, Сапрыкина и Малышевой, Раппопорт и Евстигнеева, Литвиновой и Дюжева... Когда начинается фильм, мы, пряча телефон под шарфом, отправляем ребятам из фонда полный список подписавшихся в ежедневнике селебрити. Задание выполнено. Однако впереди – два с половиной часа блокбастера о раннерусском христианстве в современной интерпретации. Наши места – в центре партера. Уйти нельзя. КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА

ГОРДЕЕВА: Трудно тебе брать автографы?

ХАМАТОВА: Да нет. Я не вижу в этом никакого унижения. Наоборот, это как игра. К тому же, у нас ведь два ежедневника: тот, который мы с тобой подписывали, потом продали на аукционе, между прочим, за пятнадцать тысяч фунтов! Но ведь второй-то остался. И лет через десять, думаю, все эти автографы только наберут в цене.

ГОРДЕЕВА: Или, наоборот, потеряют. Работа в фонде тебя сделала прагматичной?

ХАМАТОВА: Это не прагматизм, Катя. Это фандрайзинг. Давай так на это смотреть.

ГОРДЕЕВА: У меня детская травма, связанная с автографами. Когда мне было лет двенадцать, у меня совсем не было друзей. А к нам в Ростов приехала группа “Наутилус Помпилиус”. И я нарисовала большой плакат якобы от фанатской

группы, нашлепала там своими руками самые разные отпечатки ладошек, якобы принадлежавших разным людям. И пошла на концерт.

ХАМАТОВА: Одна?

ГОРДЕЕВА: Одна. Но я стояла довольно близко к сцене. И поднимала этот плакат от якобы нашей ростовской фанатской группы. На нем было написано: “Мы вас любим”.

ХАМАТОВА: Смешно. Потом с похожего эпизода начнется фильм “Лето” Кирилла Серебренникова.

ГОРДЕЕВА: Но там девушек с плакатом было, кажется, две. И они лично знали тех, кто поет на сцене. Я была одна и не имела ни к кому из выступавших никакого отношения. Когда концерт кончился, все поклонники пошли к служебному выходу Дворца спорта. С ними пошла и я. У меня была открыточка, которую я приготовила для автографа. Мы все, фанаты “Наутилуса” – а там была целая группа фанатов, к которым я как-то прислонилась, но в действительности никого не знала, – стояли на диком морозе часа полтора-два. А потом вышла группа, и их директор сказал: “У музыкантов руки заняты, автографов не будет”. И все пошли по домам.

Я шла пешком, вверх по темному, промерзшему и в те годы довольно опасному переулку имени бомбиста царских лет Халтурина. И ревела взахлеб. В лицо мне бил колючий ростовский ветер. Я злилась на себя, что вообще стояла в этой толпе поклонников и что хотя бы на секунду поверила, будто могу быть интересна великой группе “Наутилус Помпилиус”, что рисовала дурацкий плакат, что принесла эту чертову открыточку. Жалея себя, я рыдала еще сильнее, терла слезы, которые немедленно примерзали к щекам и царапались. Когда я пришла домой, то увидела в зеркале совершенно жуткое свое лицо в кровавых царапинах. Но я никому ничего не рассказала про эту историю. Я написала на открытке сама себе какой-то автограф как бы от “Наутилуса”. Я никому его не показывала, просто положила в ящик письменного стола. Он долгое время там бесславно хранился. В общем, автографы для меня – это история про унижение.

ХАМАТОВА: А я недавно нашла у себя автограф Славы Полунина, о котором он не знает, и о котором напрочь забыла я.

ГОРДЕЕВА: Как так?

ХАМАТОВА: Ну, Казань же была очень важной культурной точкой на карте страны, у нас постоянно проводились фестивали, лучшие программы независимых театров непременно приезжали к нам. Приехал и Полунин – это еще задолго до “Снежного шоу”, до всего. Программка со Славиным автографом подписана не мне лично – я постеснялась попросить – она подписана с размахом: “Казанцам!”

Думаю, что Слава приезжал со своей клоунской командой, которая тогда называлась “Лицедеи”, на фестиваль в Казань. И, конечно, я смотрела и их, и много чего еще. И просто дурела от увиденного.

Единственной точкой, в которой всё то невероятное, что я видела, могло пересечься со мной, был наш Казанский институт культуры. Там были подготовительные курсы. Я решила пойти на них, но денег у меня не было, а сказать кому-то, что они мне необходимы, что я собираюсь стать артисткой, я не могла. Уверена была: это временная история, не надо никому о ней рассказывать. Тогда я решила, что сама заработаю на свою мечту. И пошла работать на кондитерскую фабрику.

ГОРДЕЕВА: Кем?

ХАМАТОВА: Упаковщицей. Я делала коробки для всевозможных конфет и тортов. Потом мыла посуду в столовой на огромном заводе, то есть не мыла в прямом смысле слова, а ставила ее в огромный агрегат, который эту посуду мыл. Это было всё очень романтично.

ГОРДЕЕВА: А тебя кто-то устраивал на эти работы или ты сама туда приходила?

ХАМАТОВА: Конечно, устраивалась через кого-то. На завод меня устроила бабушка, которая там работала врачом и, собственно, проверяла чистоту вымытой мною посуды. Потом я работала у папы на фирме, тоже в столовой, там была прекрасная украинская женщина, которая меня научила резать огурцы так, чтобы никто не понял, что их мало, а всем бы казалось, что их много. Короче говоря, всё лето я зарабатывала. Но не удержалась и купила себе очень крутой плеер с наушниками-капельками, тогда это был последний писк моды. Плеер этот мне страшно помог в школе: я с ним ходила сдавать биологию и сдала ее на

пять, потому что никому в голову не пришло, что я сижу на экзамене в никому не заметных наушниках и перекручиваю под партой кассету внутри плеера с ответом на нужный вопрос, который я дома себе предусмотрительно записала.

ГОРДЕЕВА: Сейчас будет смешно: со своей первой зарплаты санитарки в отделении патологии новорожденных ростовского Института акушерства и педиатрии я купила себе плеер, Чулпан.

ХАМАТОВА: С наушниками?

ГОРДЕЕВА: Да. С наушниками-капельками. Он стоил двести сорок два рубля четырнадцать копеек. И мне еще осталось на кассеты. Обе – фирмы Sony. Одна голубенькая – как раз с “Наутилусом Помпилиусом” на одной стороне и “Кино” – на другой, а вторая красно-черная с “Аквариумом” и опять же “Кино”.

ХАМАТОВА: Нам было проще – у нас была казанская фабрика “Тасма”, выпускавшая кассеты. Купить их было невозможно, но мы как-то доставали. Но трагедия, Катя, была в том, что денег, которые я заработала летом, да еще и за вычетом потраченных на плеер, на курсы не хватало. И я решила сдать в ломбард семейные ценности: серебряные ложки, доставшиеся от бабушки и прабабушки, которыми мы никогда не пользовались, потому что они были очень ценные. Я сдавала их не разом, а по одной, в надежде, что потом заработаю и выкуплю. Сдала, наверное, ложки три. И пошла на курсы вместе со своей подружкой Олесей. Мы там оказались вдвоем. Буквально вдвоем: никто больше в Казани так театра не жаждал, но мы не переживали, решив, что остальные просто не нашли на курсы денег.

Однажды на занятие наших “курсов” пришел человек с татарской кафедры...

ГОРДЕЕВА: Что это значит?

ХАМАТОВА: В Казанском институте культуры есть русская и татарская кафедры. У нас же два языка, как бы две литературные традиции, театральные. И вот приходит такой суровый человек и говорит мне: “Так, ты будешь поступать к нам. Выучишь язык”.

ГОРДЕЕВА: А ты языка не знаешь?

ХАМАТОВА: Да, к сожалению, я не знаю татарского языка, у нас дома все говорили по-русски.

ГОРДЕЕВА: Но ты же – татарка!

ХАМАТОВА: Да, конечно, я татарка. У меня татарское имя, татарские корни, но довольно долгое время всё это было погребено под слоями чудовищной ситуации, в которой я выросла. У меня есть дядя, его тоже зовут Чулпан. Он сейчас заканчивает книгу “Зов памяти” о нашей родословной, там такое начало: “Язык, Мелодия, Память – опора бытия духа. Первым исчезает Язык, остаются Мелодия и Память, затем та же участь постигает Мелодию. Третье поколение лишается Памяти”. Так вот, к сожалению, я и есть это третье поколение. Вокруг меня все боялись говорить правду и молчали. Мой прадед был хозяином обувной фабрики, артели, где работало довольно много наемных рабочих. Он был раскулачен. Другой прадед – тоже раскулачен, у них отняли всё, и моя прабабушка одна с пятью дочками оказалась в Казани.

А папа дяди Чулпана был муллой – его арестовали и расстреляли. И для дяди эта тема закрыта раз и навсегда. Мой дедушка молчал о своем отце, моем прадедушке. Но он и про другое молчал: никогда не вспоминал войну, например. И в школе я попадала в идиотское положение: когда нам поручали писать сочинение про подвиги дедушек, то у всех были такие большие красочные сочинения, полные подвигов, а у меня... У меня не было ничего, потому что я приходила к дедушке, спрашивала его про войну, а он, хоть и дошел до Польши, отвечал: “Война? Война – это холодно, грязно и вши”. И всё. Получается, я росла в ситуации вынужденного умолчания прошлого. От всей истории семьи сохранилось только несколько фотографий. На одной сидит прапрабабушка. У нее трогательный татарский платочек на голове.

Это я теперь понимаю, почему моя тетя от безысходности, пытаюсь противостоять системе, в которой единственный официальный язык русский, постоянно мне твердила: “Запомни, еще Горький сказал: татарин – это звучит гордо”. Ей казалось, что через призму советской пропаганды, которой были напичканы наши умы, до меня можно донести действительную значимость моей национальности. Это такая отчаянная попытка преодолеть молчание.

ГОРДЕЕВА: То есть фактически – ответ на молчание.

ХАМАТОВА: Это был ответ, который долгое время меня устраивал. Понимаешь, я росла в Казани, столице Татарской республики, но была оторвана от культуры и от своих корней. В классе у нас учились четыре татарина – я, мальчики Тимур и Эдик и девочка Лиля. Когда все уходили домой, нас заставляли (это для татар было обязательным условием) оставаться на дополнительный урок татарского языка. Учительница впахивала нас в класс, и мы вчетвером вынуждены были сидеть, когда все уже давно гоняют в футбол или просто слоняются по городу, и зубрить этот, как мне тогда казалось, ненужный, ненавистный и непонятный татарский язык. Причем у меня и мальчика Тимура в семье не говорили по-татарски, только у девочки Лили бабушка говорила, Лиля хоть что-то знала. По большому счету, эти два-три дополнительных урока в неделю нам не давали ничего, только еще больше отдаляли. Но мы зубрили сказки и всякие притчи типа “Шурале”. И очень быстро и радостно их забывали. Потом случилась Перестройка. И Татарстан как-то начал беспокоиться по поводу самоидентификации и захотел отделяться. И все как-то бойко и резко вспомнили свои национальные традиции и приметы. Например, моя бабушка, когда я выходила замуж за Ивана Волкова, русского парня, сказала: “Прокляну. На свадьбу не приду, и не жди”. Я опешила. Но в день свадьбы вдруг раздается звонок, открываю дверь, стоит даваника, моя бабушка. Я ей говорю: “Как хорошо, что ты пришла. Я так рада тебя видеть!” Она: “Это не я решила прийти. Это там решили (и – пальцем вверх!). Мне приснился сон, что я ем свинину. И она оказалась очень вкусной”. Так она мне разрешила выйти замуж.

Именно в это время, кстати, у нас стали поддерживать носителей языка, школы срочно перешли на татарский полностью, но оказалось, что его некому преподавать: конечно, приезжало много людей из деревень, которые да, знали татарский, но при этом были не сильно образованы. Мой младший брат Шамиль пошел учиться в татарскую гимназию. Все предметы он учил по-татарски. Я как-то прихожу за ним в школу и вижу, на доске написано: “Завтра принести к труту – через т! – клей и бумагу”. Это еще больше меня оттолкнуло от культуры и языка. Уже позже, учась в Москве, я задумала ставить татарский танец для одного экзамена, приехала на каникулы в Казань, стала искать музыку. Вся татарская музыка, что была в девяностые доступна, оказалась странного одинакового качества: пошлая страшная мелодия, сыгранная на синтезаторе. Всё это официализированное “возвращение к корням” было таким неестественным, что, конечно, оттолкнуло меня еще сильнее. К огромному моему сегодняшнему сожалению. У вас дома говорили о национальности?

ГОРДЕЕВА: О том, что я еврейка, я узнала от дедушки, который вообще-то не был никаким евреем, а был сыном репрессированного и расстрелянного белого

офицера. Дедушка женился на моей бабушке-еврейке, чьих родителей в тридцать седьмом году арестовали. Прадедушку тут же расстреляли. Прабабушка провела двадцать лет в лагерях. Вышла на свободу после смерти Сталина. До семьи своей дочери, то есть моей бабушки, прабабушка Елизавета добралась в пятьдесят шестом. И два года, до самой своей смерти, прабабушка посвятила одному: восстановлению доброго имени мужа, Соломона Раскина. Я, когда разбирала эти документы, была потрясена. Вот представь, ты двадцать лет не видишь родных людей, не видишь, как растёт твоя дочь – бабушке было одиннадцать, когда родителей арестовали, – тебя нет на свадьбе дочери, ты не видишь, как рождается твоя внучка. Я бы вышла из этого лагеря, если бы вышла, и сказала: да будьте вы прокляты! А она вышла и писала письма и запросы, чтобы прадедушку восстановили в партии, в должности, чтобы его “честное имя советского человека” было восстановлено. Меня это потрясло.

ХАМАТОВА: Вероятно, с точки зрения того времени ей это было важно.

ГОРДЕЕВА: Я очень мало знаю о прабабушке. Бабушка почти не рассказывала про нее. Ну, может, кроме того, что она не умела обниматься. Она же всю жизнь провела с теми, кого не обнимешь.

ХАМАТОВА: Возможно, именно поэтому, оказавшись на свободе, она так цеплялась за жизнь, которую помнила. Так что тебе сказал дедушка, чтобы объяснить, что ты еврейка?

ГОРДЕЕВА: Он меня встречал из садика, а я ему и говорю: “Ваня Петров – жиденок, представляешь?” Мой дедушка Николай Георгиевич Фридрих – очень мягкий человек с тихим голосом и сухой узкой ладонью – вырос в обеспеченной русско-немецкой дворянской семье, где говорили по-французски и по-немецки. Дедушка потерял своих родителей во время репрессий, прошел войну и уже после нее, в самые сложные и тяжелые годы махрового антисемитизма, женился на еврейке Розе Раскиной, моей будущей бабушке. Так вот, услышав от меня пятилетней этот важный вопрос про национальность, дедушка наклонился ко мне и очень спокойно сказал: “Правильно говорить не жиденок, а еврей. И это ты – еврейка. А Ваня – русский”. Тем и закончилось. До казачьих погромов середины девяностых у нас в Ростове было как-то довольно просто с национальным вопросом. Там столько национальностей, что и не разберешься. И столько людей, приехавших в город по самым разным причинам в послевоенное время, что о прошлом – о происхождении, национальности, предшествующей истории – не было принято спрашивать.

ХАМАТОВА: В Казани было иначе: существовали темы, про которые было просто принято молчать. Но они всё равно вскрывались: никаким страхом их никуда было не загнать, никаким запугиванием не скрыть. Моя мама выросла в доме своей бабушки, у которой было пять дочерей. И все они со своими семьями в этом доме жили. А прабабушка, то есть мамина бабушка, была главной женщиной в доме. И вот как-то моя мама, еще совсем девочка, пришла домой с красным галстуком поверх пальто, страшно гордая тем, что ее только что приняли в пионеры. Прабабушка сидела у печки, шевелила кочергой угли. Мама радостно заявила: “Бога – нет!” И бабушка, не поворачиваясь, – бум ей по башке кочергой. У мамы остался шрам. Но про то, что можно и нужно говорить в школе, а что – дома, она запомнила навсегда.

ГОРДЕЕВА: Но это не сподвигло никого начать, например, дома разговаривать по-татарски? У нас было ужасно смешно: моя бабушка помнила немного идиш, а дедушка знал в совершенстве немецкий, на нем в его семье говорили. Так вот они понимали друг друга. И, когда хотели говорить о чем-то тайно, говорили на идише-немецком таком, своем.

ХАМАТОВА: Это всё – страшное наследие сталинского времени: нам предлагалось родиться и прожить свою жизнь в абсолютном отрыве от своих корней, в полнейшем незнании национального, семейного, генетического; у нас это было отнято по факту нашего существования, системе нужен был человек без прошлого. Моя бабушка дома говорила по-русски, но татарский она знала. Дедушка играл на аккордеоне военные песни, но и татарские тоже. Мы всегда пили чай из пиалы... Всё это было так неочевидно и так зыбко. И вот все эти обрывки, кусочки воспоминаний начали всплывать у меня в голове, когда я стала читать роман Гузели Яхиной “Зулейха открывает глаза”.

ГОРДЕЕВА: Помню, ты его прочитала и сказала, что никогда отчетливо не мечтала ничего сыграть, но вот теперь мечтаешь – Зулейху.

ХАМАТОВА: Мне казалось, что героиня моложе и вообще – это не я. Но потом я поговорила с Гузель, и выяснилось, что она представляла меня, когда работала над романом. И она очень многие вещи интуитивно точно описала – как будто знала что-то про мою семью. Я даже дядю Чулпана уговорила прочесть эту книгу. И дядя, который ничего про те времена не хочет слышать, прочитав, сказал: “Правильно ты меня уговорила”.

ГОРДЕЕВА: Теперь ты будешь играть, наконец, Зулейху в новом фильме.

ХАМАТОВА: Я волнуюсь. Знаешь, мне эта книга позволила собрать хотя бы фрагмент своей личной истории воедино – сложить разрозненные, крошечные пазлы, не соединяющиеся друг с другом.

ГОРДЕЕВА: Вернемся к тому, что на татарскую кафедру в Институт культуры ты не пошла. Ты начала рассказывать, как человек с кафедры пришел и потребовал, чтобы ты выучила язык...

ХАМАТОВА: И его предложение меня, надо сказать, ошеломило. Но неожиданно женщина, которая вела наши курсы, – замечательная, сильно выпивающая, но очень чуткая женщина, – буквально встает на дыбы и говорит: “Какая еще татарская кафедра? Вы что, не видите, она насквозь пропитана русской литературой? Мы ее не отдадим. Она будет поступать к нам”. Это был какой-то первый знак, первый маячок, что, может быть, всё не зря, что надо не переставать пробовать. Что есть у меня или на меня какая-то все-таки надежда.

Глава 5. “Можно я не буду увядать?”

ГОРДЕЕВА: А каким образом обнаруживают артистические способности в ребенке, в подростке? Как это можно разглядеть? Вообще, настоящий артист – это больше подаренное или наработанное?

ХАМАТОВА: Это подаренное. И в подростковом возрасте уже, как правило, хорошо видно, есть или нет.

ГОРДЕЕВА: Есть – что?

ХАМАТОВА: Вера.

ГОРДЕЕВА: Это как?

ХАМАТОВА: Ну, вера. Вот стоят перед тобой два человека, и ты говоришь: “Идет дождь”. И по одному видно: идет дождь или на самом деле не идет, а по

другому не видно. Он может как угодно кривляться, изображать, что ему сыро, прятаться от дождя, но у него нет этого! А тот, первый, выходит, и ты видишь вместе с ним дождь, чувствуешь его, мерзнешь и мокнешь. Если маленький человек способен передать тебе это состояние – это дар.

ГОРДЕЕВА: При этом он же еще должен не стесняться, так? Потому что стеснение дар, возможно, скроет.

ХАМАТОВА: Если ты действительно видишь дождь, то ты можешь сколько угодно продолжать стесняться, но видеть дождь. Даже среди взрослых артистов есть люди, которые свое стеснение преодолевают всю жизнь и для них каждый выход на сцену – преодоление, а не то что “я вышел и сейчас вас буду поражать”. Но дара это не отменяет и не влияет на него. Дождь или есть или нет.

ГОРДЕЕВА: Значит, в тебе почувствовали человека, который “видит дождь”?

ХАМАТОВА: Наверное, они что-то такое увидели во мне, потому что вопрос о моем поступлении встал ребром. И пробил тот страшный час, когда мне, наконец, пришлось предупредить родителей, что я несусь по пути порока с невероятной скоростью. Я поговорила с мамой. Если коротко, мама была в ужасе. И она рассказала о моих страшных планах нашей соседке, учительнице русского языка и литературы Маргарите Александровне, про которую маме было известно, что когда-то давно Маргарита Александровна мечтала быть актрисой и певицей, но нашла в себе силы наступить на горло собственной песне и пошла в педагогический. Моя мама подразумевала, что Маргарита Александровна, с высоты своего жизненного опыта, поговорит со мной и даст какой-нибудь дельный совет. Например, скажет: “Посмотри, как прекрасно сложилась моя жизнь. Забудь ты про эти артистические бредни”. Но Маргарита Александровна сказала совершенно другое: “Институт культуры, – сказала она, – это полная ерунда. Там выпускают непрофессиональных режиссеров деревенских театров и непрофессиональных артистов студий при заводских дворцах культуры. Годится только для кружков и секций. Если ты хочешь заниматься серьезно театром, – сказала она, – ты должна поступать в профессиональное театральное заведение, каким является Казанское театральное училище”. Тут маме стало совсем плохо. Потому что ты же понимаешь ситуацию: я неплохо заканчивала школу и вот-вот должна была поступить в высшее учебное заведение. А тут – какое-то театральное училище! ПТУ, куда идут, как думала мама, все эти девятиклассники, которых не взяли учиться ни в старшие классы школы, ни

в другое приличное место. Караул: ее дочь идет в ПТУ!

Чтобы не обострять, я продолжаю сдавать экзамены в школе и поступать в финансовый институт. Но как только я туда поступаю, бегу в театральное училище, успеваю, правда, только на последний тур. Но мне везет. Экзамены принимает Вадим Кешнер, великий артист казанского БДТ имени В.И. Качалова. В момент встречи с ним надежды на то, что всё само собой рассосется, мне скажут “вы непригодны”, я вернусь домой, и у меня не будет ни конфликтов с родителями, ни дальнейших стремлений изменить свою жизнь, рухнули. Вадим Валентинович сказал: “Приходи и приноси документы. Всё”.

ГОРДЕЕВА: Послушай, но вот если, как ты говоришь, дар “чувствовать дождь” понятен при первой встрече, если Кешнер сразу же понял, что ты – артистка, а не бухгалтер, то откуда берутся страшные истории про великих артистов и артисток, поступивших в театральное только с какого-нибудь пятого-десятого раза?

ХАМАТОВА: А кто тебе сказал, что в приемной комиссии всегда сидят люди, которые чувствуют?

Знаешь, как проходит первый тур? Я единственный раз участвовала в наборе абитуриентов у своего мастера в ГИТИСе, и мне это очень запомнилось. Так как количество желающих зашкаливает за триста человек на одно место, то люди, которые приезжают со всей страны, пытаются поступить во все театральные вузы одновременно. Думаю, кстати, что слез и ошибок было бы меньше, если б они хотя бы точно знали, куда и к кому хотят попасть. Но абитуриенты, так годами заведено, используют все возможности. Отсмотреть их всех мастер курса просто физически не способен. Поэтому на предпрослушиваниях – тех, что идут еще до экзаменов, – просят посидеть либо молодых артистов, либо студентов, которые только что выпустились, либо кого-то из будущих преподавателей. Как-то на таких предпрослушиваниях я сидела со своей однокурсницей, довольно средней артисткой с очень плохим характером. И она отсеивала всех. Просто так.

ГОРДЕЕВА: А ты?

ХАМАТОВА: А я, наоборот, всех брала. Мне эта ответственность – вершить судьбу – страшно не нравилась. И я с ужасом смотрела на то, как она всех

отсеивала, требуя от абитуриентов невысказанных высот профессионального мастерства. Я пыталась ей объяснить, что это просто дети, нужно постараться разглядеть в них природу. Но тщетно. Стоило мне выйти из аудитории, как она отсеивала всех и каждого. Я вполне допускаю, что могли не пройти и какие-то хорошие ребята.

ГОРДЕЕВА: Но тебе-то повезло. В приемной комиссии сидит великий Кешнер. И он тебя берет без разговоров.

ХАМАТОВА: И передо мной встала самая страшная задача, точнее, две: во-первых, сообщить новость маме, а во-вторых, забрать документы из финансового института. При этом на наш факультет в институте конкурс был сумасшедший, а в театральное училище – никого. На наш курс в училище пришли какие-то уж совсем отчаявшиеся люди, которые ни на что не были годны, плохо учились в школе и не имели шансов никуда поступить, от безнадежности пришли учиться на артистов.

Мне в институте документы не отдали. Их пришлось забирать моей героической маме. По пути за документами она встретила моего любимого учителя математики, который, узнав о случившемся, сказал: “Я ее прокляну”. Но мама все равно забрала документы, обливаясь слезами.

Я отчетливо помню, как на следующий день шла с документами в театральное и понимала, что сейчас что-то делаю со своей судьбой такое...

ГОРДЕЕВА: Какое?

ХАМАТОВА: Непоправимое! Конечно же, я была подростком и не могла предвидеть ничего из того, что потом случится. Но я навсегда запомнила ощущение внутреннего страха: прямо сейчас своими руками я меняю свою жизнь. Я пыталась себя уговорить, что поступаю правильно, что это и есть моя судьба. Мне было шестнадцать лет. Я шла и вслух твердила: “Я не хочу ни славы, ни популярности – ничего. Я хочу, чтобы мир изменился к лучшему. Пусть даже не весь мир, хотя бы мир одного человека в зрительном зале – как это случилось со мной на спектаклях”. И, наверное, это желание, искреннее желание, позволило мне внутренне снять с себя проклятие моего любимого учителя и отпустить себя в эту неизведанную бездну. “Я смогу что-то изменить к лучшему”, – сказала я себе. И почему-то в это поверила.

ГОРДЕЕВА: Важно ведь еще и то, что ты изменила историю своей семьи. Вот эту династическую стабильность, свойственную советскому обществу, когда из года в год, из поколения в поколение все идут по одной и той же колее. Ты это изменила. И я, кстати, тоже. Я не стала инженером-строителем, как мама, папа, бабушка или дедушка. В этом не было никакого вызова. Просто так получилось. Это, надо полагать, типичная история в нашем поколении. На моих родителей огромное впечатление произвел тот факт, что я пошла даже не во врачи – в журналистику. К их чести, они ни разу не заикнулись о том, чтобы я стала инженером. Вероятно, понимали, что в новых обстоятельствах это тупик.

ХАМАТОВА: Мои тоже изо всех сил держали себя в руках. Однако я-то понимала, какой удар им нанесла, отринув обещавшую стабильность профессию бухгалтера-финансиста.

ГОРДЕЕВА: Выбор, который мы сделали, к тому же подразумевал довольно скорый отъезд. Даже в городах-миллионниках перспектив у людей творческой профессии был минимум. Мне кажется, я лет в пятнадцать ясно представила, что со мной будет дальше: редактор отдела в газете, что-нибудь эпатирующее на телике, а потом – что? И это как-то всегда висело в воздухе: ехать надо. Разумеется, в Москву. Отъезд – тоже нарушение традиций и удар по родителям. Мои выдержали его стойко.

ХАМАТОВА: Моим было трудно. Но они старались принимать меня, не всегда понимая, но всегда веря. Это очень важно, когда тебе, в тебя – верят.

Знаешь, мне вот кажется, Катя, что целеустремленность, свойственная нашему поколению, как правило, проявляется у людей, которые рано начали сами отвечать за себя. И это не могло не раздражать москвичей, в чей город мы рванули в начале девяностых. Помню, как мне моя однокурсница-москвичка сказала: “Ну конечно, ты же провинция, поэтому ты будешь рваться вперед и всех расталкивать локтями. Тебе во что бы то ни было надо быть первой”. Хотя это неправда. Я никогда и никого в жизни не расталкивала. И вовсе мне не надо было быть первой, мне просто очень хотелось получать удовольствие и понимать профессию.

ГОРДЕЕВА: И иметь в ней перспективу.

ХАМАТОВА: Возможность получать удовольствие – это и есть перспектива, как я ее себе представляю.

Но многие москвичи часто использовали именно этот аргумент: мы уже родились с тем, к чему вы так стремитесь. Они наивно полагали, что нам нужны прописка и принадлежность к их кругу. Но нам было нужно другое – возможность реализовать себя и попытаться исполнить свою мечту. Обвинить нас в стремлении жить на “их Арбате” – это, конечно, сколь шикарное, столь и беспомощное оправдание их бездействия.

ГОРДЕЕВА: А речь о том, что ты поедешь в Москву, зашла сразу же, как только ты поступила в училище?

ХАМАТОВА: Нет. Вначале ничего такого не предвиделось. Папа с мамой мужественно приняли известие, что я буду (возможно, временно) учиться в театральном училище. И тут наступила осень. Я ходила на занятия в каком-то тумане, просто наслаждалась самим фактом существования мира, города, училища и себя во всем этом антураже. Театральное училище в Казани находится рядом с художественным: в красивом аристократическом районе старого города, где много тенистых парков и дореволюционных домов. Сам поход туда – уже невероятное удовольствие.

К тому же выяснилось, что в паре с Вадимом Валентиновичем Кешнером у нас на курсе работает великая Юнона Ильинична Карева. Она не принимала экзамены, потому что уезжала в Москву к сыну Серёже, Сергею Говорухину, сыну Станислава Сергеевича Говорухина. А потом Юнона Ильинична вернулась в Казань. Но в воздухе все равно висело, что она рано или поздно туда уедет; сколько я Юнону знала, она, как чеховские “Три сестры”, рвалась в Москву, только что-то ее постоянно не пускало. Вначале она жила в Казани потому, что там жил Говорухин, в смысле Станислав. Потом – потому что Серёжа. Но Серёжа уехал, поступил во ВГИК, а она осталась в Казани. Она была звездой, красавицей, примой нашего казанского Качаловского театра. В семидесятых набрала курс с Кешнером, тоже красавцем и звездой Качаловского театра. Потом эти курсы стали легендой театральной Казани, да и всей страны. Карева и Кешнер стали выдающимися театральными педагогами. И Юнона опять не уехала. Потом, когда Серёжа уже жил в Москве, время от времени вдруг опять возникал слух: Юнона, может быть, сейчас сорвется и все-таки уедет, Серёжа купит ей квартиру, она посвятит себя ему; тогда в училище объявлялось, что вот этот ее курс – последний курс, и всё! Но наступало первое сентября. И снова

набирался курс. И так продолжалось до самого конца.

Мне запомнилось, что у Юноны были грустные глаза. Всегда. Даже когда она улыбалась, глаза оставались грустными. Я часто говорила ей: “Юнона, почему вы так грустно улыбаетесь? Вы не могли бы улыбаться, ну, по-настоящему?” И она трогательно пыталась улыбнуться по-настоящему. Но у нее так это получалось, что сразу хотелось плакать.

ГОРДЕЕВА: Она так и не уехала из Казани?

ХАМАТОВА: Нет. Удивительная история. И удивительно, как жизнь позднее меня свяжет и с Юноной, и с Серёжей Говорухиным. Но этому только еще предстоит случиться. А пока я занимаюсь у двух великих педагогов, у Каревой и Кешнера, которые, безусловно, сыграли важнейшую роль в моей жизни. Как они доверяли ученику, как помогали ему раскрыться...

ГОРДЕЕВА: Как?

ХАМАТОВА: Например, у нас на курсе было такое упражнение, называлось “Расцвет и увядание”. Ты, как цветок, расцветаешь, а после увядаешь, умираешь. Мы выполняли это упражнение каждый день перед началом занятия как разминку. И представляешь, я не могла увядать! Расцветать – расцветала, всё было хорошо. А когда начиналось увядание, я не могла – принималась плакать. Для моей психики это было слишком серьезным испытанием, я больше ничего уже делать не могла – ни учиться, ни задания выполнять. Эта разминка меня эмоционально подавляла. И я пошла к своим любимым педагогам и спросила: “Скажите, а можно я не буду увядать?” Мне ответили: “Хорошо, конечно”. И с тех пор я только “расцветала”, а как весь курс “увядает”, смотрела со стороны.

В Москве мне, разумеется, такого не позволяли – никого не интересовало, как сильно я куда-то там погружаюсь. Таких сентиментальных и расположенных к студенту педагогов больше в моей жизни не было.

ГОРДЕЕВА: Потому что – Москва?

ХАМАТОВА: Просто другой подход. Хотя нет, вру. Был один случай: меня студенткой вводили в сказку “Звездный мальчик” в РАМТе, Российском

академическом молодежном театре. А он шел под такую пессимистическую, минорную музыку. Я пошла к Алексею Владимировичу Бородину, своему мастеру курса в ГИТИСе, и попросила: “Можно меня не вводить в этот спектакль? Я с ума схожу от музыки, она меня расстраивает”. И он сказал: “Ладно”. Но это было всё же исключение из правил.

ГОРДЕЕВА: Как Юнона тебя вообще в эту Москву отпустила?

ХАМАТОВА: Не просто отпустила. Своими руками отправила. Это тоже невероятно. Еще с зимы моего первого курса Юнона стала говорить о Москве. И она, и Кешнер честно признавали, что в Казани никакого нормального будущего у меня не будет, надо ехать в Москву.

ГОРДЕЕВА: Послушай, но это же человеческий подвиг: отказаться от лучшей ученицы курса, своими руками отправить в Москву ту, которая...

ХАМАТОВА: ...могла сделать просто всю их педагогическую карьеру; а она в тот период для них была очень важна. Потому что для обеих, и Каревой, и Кешнера, педагогика была самым важным делом в жизни. Я уверена, на тот момент они были самыми лучшими театральными педагогами страны. То, что я попала на их курс, – это, конечно, судьба. Их студенты участвовали, кажется, во всех театральных фестивалях, бесконечно гастролировали. И вот на одном из фестивалей Юнона посмотрела спектакль “Наш городок”, который Алексей Владимирович Бородин подготовил со своим выпускным курсом. Вернувшись, совершенно потрясенная Юнона сказала мне: “Только к Бородину. Никаких «фоменок» и прочего. Только туда”.

Вскоре Юнона поехала отдыхать в Рузу, в Дом творчества, и встретила там Евгения Вацлавовича Дворжецкого, который на будущий год как раз вместе с Бородиным набирал в ГИТИСе курс. И Юнона ему говорит: “У меня есть такая девочка...” И расписала меня, как могла. Женя сказал: “Давайте посмотрим. В общем порядке. Пусть приходит на прослушивание”.

ГОРДЕЕВА: Это каким авторитетом должна была обладать Юнона Карева из Казани, чтобы вот так запросто поговорить про свою студентку с Дворжецким?

ХАМАТОВА: Дело в том, что мама Дворжецкого, Рива Яковлевна Дворжецкая, сама преподавала (и до сих пор преподает) в нижегородском театральном

училище. Она очень известный и авторитетный российский театральный педагог. Так что сын ее, московский артист Евгений Дворжецкий, в силу семейных обстоятельств был погружен в систему провинциального театрального образования.

ГОРДЕЕВА: Выходит, не проучившись в Казани и года, ты понимаешь, что вот-вот окажешься в Москве.

ХАМАТОВА: Тяжелее всего мне далась логистическая часть этого перемещения: Юнона записала мне телефон некоей Алёны Каминской, дочки Каминского, который в шестидесятые годы был звездой КВНа в Казани, а потом переехал в Москву и был звездой КВНа уже в Москве. Алёна и ее мама станут моими ангелами-хранителями в первый московский год.

Я довольно долгое время не могла даже сообразить, как вообще звонить в Москву из Казани. Неделю не дозванивалась и не понимала, что не так: никто из моих родственников, соседей и друзей никогда в Москву не звонил. Все эти “восьмерка, гудок, ноль девять пять”... мне были неизвестны! В конце концов кто-то мне объяснил, я дозвонилась, и прекрасный голос мне пообещал, что перезвонит, когда узнает, какие там, в ГИТИСе, условия поступления. И всё. Проходит день, неделя – ни звонка, ни весточки. Я помню это тягучее ожидание: вот я каждый день сажусь готовиться к занятиям, включаю настольную лампу, смотрю на телефон, который стоит на моем письменном столе; на тетрадку, открытую передо мной, ложится мой кот, греется под лампой. А я не могу ничего делать, я только смотрю на телефон. Может быть, это ожидание продолжалось не так уж долго, но мне, девочке, которая ждет звонка из Москвы, казалось, что очень долго.

Но вдруг примерно таким же вечером – тетрадка, лампа, кот – раздается звонок, и мне объясняют, что тогда-то надо приехать в Москву, туда-то прийти, и будет прослушивание.

ГОРДЕЕВА: Ты рассматривала только ГИТИС и только курс, который набирали Бородин с Дворжецким?

ХАМАТОВА: Конечно! Я мечтала попасть только к тому мастеру, к которому велели Юнона с Кешнером.

ГОРДЕЕВА: Жалела потом об этом?

ХАМАТОВА: Я на втором курсе пожалела. Но сейчас совсем не жалею, сейчас мне ясно, зачем всё это было. А тогда... Понимаешь, у нас, у Бородина, на втором курсе была такая школа-школа. А у студентов Петра Фоменко – полная свобода. Например, нам запрещалось делать этюды под музыку, потому что музыка – помогает, а у “фоменок” все этюды были под музыку. Мы с ними учились в параллельных потоках: у Фоменко – актерско-режиссерский курс, у Бородина – актерский курс, ходили друг к другу на экзамены: наши экзамены чудовищные и скучные, потому что у нас русская классическая драматическая школа, а у них... у них – полная свобода.

Я помню, как мы приходили после просмотра экзаменов у “фоменок” к себе в общежитие и рыдали с соседкой в голос. У нас в общежитской комнате были высоченные потолки, метра три с половиной, а у моей соседки Иры к потолку над кроватью был прибит плакат с рекламой “Вольво” – как символ безбедной счастливой жизни звезды, вероятно. И вот мы лежим, смотрим на этот плакат и рыдаем: у нас никогда не будет такого эмоционального, потрясающего экзамена, как у “фоменок”, а значит – и ничего никогда не будет, никакой жизни.

Глава 6. Дети Перестройки

Когда-то давно, когда я уже выросла настолько, что перестала считать себя девочкой и начала считать себя тетенькой, я придумала первый вопрос при знакомстве. Ни “как вас зовут”, ни “чем вы занимаетесь”, ни “сколько вам лет” не дают истинной возможности узнать о человеке... Сразу надо спрашивать: какую музыку вы любите и какие песни поете, принимая душ? И в зависимости от ответа уже решать, стоит ли продолжать знакомство или нет.

Это было прекрасное лето! Лето 2009-го. У моих подруг Кати Гордеевой и Оли Павловой еще не было детей. Они мобильны, легки на подъем, готовы сорваться при первой возможности, если такая выпадает на работе. Они приезжают ко мне в Казань, где я сижу на даче у родителей со своими двумя старшими девочками. В эти же дни в Казани проходит рок-фестиваль “Сотворение мира”, куда приехал Юра Шевчук. Полдня мы провели в его гостиничном номере,

захлебываясь от общения и слушая новые стихи, а вечером пошли на фестиваль. Огромная площадь перед Казанским кремлем, нехотя просыпающиеся звезды в светлом летнем небе и вокруг десятки тысяч людей. И мы в самом водовороте этой многотысячной людской энергии поем и танцуем... Сначала под песни “Мумий Тролля” и Ману Чао и под конец горланим и танцуем вместе с “ДДТ”. И я всё время оглядываюсь на Катю и ловлю себя на мысли, что мы поем наизусть одни и те же песни.

Рано утром следующего дня, когда мы, сонные, ехали в аэропорт, в моем дремотном сознании бултыхались несвязанные мысли о том, что мы выросли очень далеко друг от друга, в разных климатических поясах, у нас должны быть разные темпераменты, разные вкусы и, конечно же, разные песни. Я в упор посмотрела на Катю и, чтобы не будить ее, громко подумала: “Мы с тобой одной крови. Ты и я”. “Мы с тобой одних песен. Ты и я”. Песен Перестройки. ЧУЛПАН
ХАМАТОВА

ГОРДЕЕВА: Сейчас это немного дико прозвучит: но мне кажется, что нас как поколение и наше – как поколения – представление о стране сформировал телевизор. Включаешь ночью телик, а там – программа “Взгляд”. И ты уже не можешь быть прежним.

ХАМАТОВА: У тебя тоже так было? Для меня, в Казани, это было прямо окно в мир. Точнее форточка, в которую врвался свежий ветер.

ГОРДЕЕВА: Я в конце восьмидесятых – начале девяностых жила с бабушкой. И телевизор стоял в ее комнате. Мы с ней садились в ночных рубашках у этого телевизора и смотрели во все глаза: вот показывают Шевчука, который работает уборщиком где-то в больнице, вот – Гребенщикова, который стоит на крыше дома, откуда виден Спас на Крови, а вот – Цоя, который работает кочегаром... Они говорят так, как никто до этого не говорил из телевизора. А потом – поют песни.

ХАМАТОВА: Песни, от которых сносит крышу, потому что это другие песни.

ГОРДЕЕВА: Вообще люди, которых показывают во “Взгляде”, – это другие люди. На меня почему-то сильнейшее впечатление произвел сюжет про мальчика, у которого дома жила лошадь. Делал этот сюжет Листьев. И я помню, с какой

любовью, с какой нежностью и желанием понять героя сюжет был снят. По здоровом размышлении и мальчик, и те, кто ему позволил эту лошадь держать в квартире где-то у метро “Аэропорт”, – не сильно здоровые люди. Но у Листьева это выходило единственно возможным способом существования для человека, который решил спасти коня, катавшего пьяных гопников по Тверской, от мучительной и печальной жизни.

ХАМАТОВА: Это главное, что тогда транслировалось из телевизора: можно быть не такими, как все, не надо быть одинаковыми. Наступило другое время. И в кино было то же самое, просто не в такой концентрации. Поворотным моментом моих девяностых был фильм “Асса”. Что это был за феномен такой? Какой-то другой язык, какого прежде не было. И ведь никто же ничего не объяснял, не разжевывал. Просто с нами поговорили на другом языке и заразили этим.

ГОРДЕЕВА: Что значит – никто не объяснял? В “Ассе” всё понятно: вот Африка, он с серьгой в ухе, вот Цой – он свободный человек, музыкант. Они – люди будущего. А вот – Говорухин, то есть Крымов. Он человек из прошлого, функционер, вор и мерзкий вообще тип – метафора советского прошлого.

ХАМАТОВА: Я не считывала этот сюжетный контекст. Я поняла так, что есть где-то там свободные люди с серьгами в ушах, которые больше не живут в обрыдшем этом затхлом пространстве, они намного интереснее, чем те люди, у которых всё есть, тот же самый Крымов. Они свободнее. Круче. Моднее.

ГОРДЕЕВА: А мы, ну условная Россия, люди, которые в ней живут, – это героиня Друбич, которая выбирает между бедной свободой и богатой несвободой.

ХАМАТОВА: Нет, Катя, это ты сейчас так говоришь. Тогда я так не воспринимала. Я вообще не очень понимала сюжет. И не считала, что “Асса” – это фильм о конфликте поколений, богатых и бедных, прошлого и будущего или чего-то подобного. Точно так же я ничего не понимала в фильме “Игла”: например, того, что там весь конфликт связан с наркотиками. Я плакала в конце. Но не оттого, что героя убили, а от эмоций, вызванных появлением нового языка. Нашего языка. Меня поразило, что на свете живет еще кто-то, кто, как я, не хочет ходить строем, подчиняться серости, сам становиться серым. И, кстати, надо уточнить: это история не про девяностые даже, а про конец восьмидесятых. Про Перестройку, которая таким счастливым весенним дождем пролилась на наши головы. Я могу сейчас точно сформулировать, что лично мне, ученице седьмого-восьмого класса, дала Перестройка и всё то, что за ней последовало:

Перестройка дала мне право абсолютно безнаказанно иметь свое мнение.

ГОРДЕЕВА: А мне иногда кажется, что Перестройка спасла меня от другой, жуткой судьбы зомбированного советского человека, винтика. Если бы не Перестройка, которая не просто позволяла говорить своим голосом, но и давала силу этому голосу, я бы выросла чудовищем, Железной Кнопкой из фильма Быкова “Чучело”.

ХАМАТОВА: Почему ты так думаешь?

ГОРДЕЕВА: Знаешь, я была совершенно остервенелой пионеркой. У меня в дневнике день смерти Ленина, двадцать первое января, был обведен черным фломастером. Я была председателем совета отряда и даже какое-то время – дружины. Заставляла весь класс по ролям учить поэму Маяковского “Владимир Ильич Ленин” ко дню рождения вождя, а еще ставила пьесу про Павлика Морозова.

ХАМАТОВА: Ты это делала потому, что верила?

ГОРДЕЕВА: Не просто верила, истово верила, жила этим. И считала себя вправе настаивать, чтобы другие жили и верили так же.

ХАМАТОВА: Когда я была октябренок и даже начинающим пионером, я тоже верила истово, как ты говоришь. И в октябратский период так расстраивалась, что у нашего отряда нет никакого формального жеста для выражения солидарности, что придумала его! Надо было держать руку у груди, параллельно земле, но не поднимая вверх, к голове.

ГОРДЕЕВА: Это означало – мы еще недопионеры?

ХАМАТОВА: Да. Нашему октябратскому отряду этот жест очень понравился. Мы все стояли навтыжку, держа так руки. И очень гордились собой. И я считаю огромным преступлением системы, хотя мы его еще не понимали, не осознавали, что все наши хорошие слова, пионерские поступки и благие намерения ложились на полностью сгнивший фундамент: как-то в лагере мы с подружкой были дежурными по отряду, все пошли гулять в лес, а мы должны были помыть палату. Но мы решили, что просто помыть палату – недостаточно, нас же учили перевыполнять план! И мы собрали пионерские галстуки у всего отряда,

постирали их, погладили и развесили обратно, перепутав, у кого какой: у кого-то были драные галстуки, с чернильными надписями и какими-то рисунками, а у кого-то – идеально новые, но нас это не волновало! Важно было, что мы вот совершили такой поступок! Это же дурь-то какая, Катя. В тот момент, когда эти тряпки наглаженные...

ГОРДЕЕВА: Не тряпки, а кусочки красного ленинского знамени!

ХАМАТОВА: Да, эти тряпки, которые считались кусочками ленинского знамени, висели идеально ровно на спинках кроватей, и тут пришли ребята. И оказалось, что никто не может найти свой галстук. Нас с подругой тогда чуть не убили.

ГОРДЕЕВА: Я часто с раскаянием вспоминаю стареньких бабушек, двух пожилых сестер, к которым меня прикрепили “заботиться”: я исправно ходила к ним, насмерть перепуганным, мыть полы, а они от меня, пионерки, прятали под полотенцем пасху.

ХАМАТОВА: Момент, когда у нас, выращенных на эпосе про пионеров-героев, начинали открываться глаза, всегда оказывался болезненным столкновением светлых идеалов с фальшивым миром взрослых, в котором всё то, что было написано и обещано в книжках, превращалось в непобедимое вранье и тухлятину. В моем классе было два инвалида, как я сейчас понимаю, очень серьезных – мальчик с какой-то формой аутизма, на которую наслаивалась еще и эпилепсия, и девочка с сильным отставанием в развитии: она плохо говорила. И над ними в классе, в школе постоянно издевались. Казалось бы, учитель должен встать на защиту слабого человека, ребенка с тяжелым недугом. Но нет: наш учитель молчал, потакая всеобщим издевательствам, даже отчасти поощряя их. Я вначале не могла поверить, а когда поняла, что не ошибаюсь, меня охватил ужас.

ГОРДЕЕВА: Слушай, но могло быть много причин, по которым учитель не вставал на сторону этих больных детей. Например, страх. Страх другого, который был очень свойственен советскому человеку. Знаешь, к нам в школу, наверно, в рамках какого-то обмена, привезли однажды детей-инвалидов. Это, кажется, был первый раз, когда я увидела других людей. Я училась в классе в третьем, наверно. Была абсолютным продуктом системы, запрещавшей смотреть в транспорте на людей, которые не соответствуют привычным представлениям о том, каким должен быть советский человек. Да я их, по правде говоря, и не встречала: на нашей улице жил только Гена, парень с синдромом Дауна. По

старой русской традиции он был “нашим юродивым”. Одним-единственным, а других не было. И вот, увидев человек двадцать или тридцать моих же ровесников, но инвалидов, то есть совсем других, я онемела от ужаса и удивления. И про встречу, которую проводили в актовом зале, почти ничего не помню, кроме того, что эти дети нестройным хором пели песню про “белого лебедя на пруду”, который что-то там качает. Мне все время хотелось выбежать из актового зала. Но я не успела, потому что завуч объявила “минутку знакомства”: мы все должны были подойти к вот этим приехавшим к нам в школу детям познакомиться и пообщаться. Выглядело неестественно, подходить было трудно. Но я пошла. И стала “общаться” с девочкой Леной. Голова у нее была обычная, а остального тела почти не было видно, оно как-то было скрыто в корзинке, в которой двенадцатилетнюю Лену привезли. Мы с ней обменялись телефонами, она дала мне свой адрес – она была не интернатовским, домашним ребенком. Следующие несколько дней я дико, до ломоты в коленях не хотела к ней идти. Но я же взяла адрес. И пошла. Я несколько раз приходила к ней домой. Мы болтали, Лена делала какие-то поделки и что-то мне дарила. Я пыталась вести себя нормально, рассказывать ей что-то. Но всякий раз, подходя к ее дому, я испытывала ужас. И сразу за ним – стыд, что мне страшно. Как-то Лена заболела, и несколько месяцев посещать ее было нельзя. Потом заболела я. И счастливо “забыла” о своем пионерском обязательстве навещать Лену. Мне до сих пор стыдно своей трусости. Но сейчас я уже понимаю, что нельзя вынуждать быть добрым и толерантным. Это иначе делается. Милосердию или чему-то такому, человеческому, не учат в специально отведенный классный час.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

В 1992 году Центральный детский театр был переименован в РАМТ – Российский академический молодежный театр.

Купить: https://tellnovel.me/ru/hamatova_katerina/vremya-kolot-led

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)